

Борис Носик

# Серебряная цепочка



Часть сборника  
*Смерть секретарши (сборник)*



Борис Носик

**Серебряная цепочка**

«Автор»

2007

**Носик Б. М.**

Серебряная цепочка / Б. М. Носик — «Автор», 2007

"...В последнее время Русинов относился к себе самому с особенным недоверием, ожидая каких-то эскапад, истерик или срывов. Он и всегда смотрел на себя несколько со стороны, с недоумением и страхом. Отчасти это было связано с его профессией, точнее, с изумлявшей его самой способностью к сочинению книг. Не зная и не понимая досконально, из какого источника берется эта способность, он все время пытался дойти до этого источника и опасался, что не сегодня-завтра иссякнет эта его замечательная способность. Оттого он привык доискиваться до тайной пружины своих собственных действий, искать их в стороне от видимых и слишком явных мотивов..."

© Носик Б. М., 2007

© Автор, 2007

## Борис Носик

# Серебряная цепочка

*И пораженный, в горестной тревоге  
Он замирает у конца дороги.*

*О.Туманян*

*Не расстанусь с комсомолом,  
Буду вечно молодым!*

*А.Безыменский*

*Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая  
повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо под  
колодезем...*

*Екклесиаст, 12, 6*

К концу первой недели телефон перестал трезвонить. Иногда, может быть раз или два за день, кто-то еще домогался ответа, но потом, целые долгие сутки, телефон лежал на полу безмолвный и словно бы неживой. По временам это было даже обидно чуть-чуть: вот, уже и никому не нужен. Впрочем, он ведь хотел этого забвения. Приложил к нему усилия. Теперь его оставили в покое, и город, населенный родными, знакомыми, бывшими возлюбленными, как будто опустел, вымер.

По временам Русинов все же выбирался из дому – до ближнего продмага и булочной. Бредя пустыней продмага, он подбирал в ячейке холодильника сырок «Дружба», порой шма-ток масла или обрезок пошехонского сыра. В булочной – хрустящие хлебцы и четвертушку черного. Обещанное изобилие продуктов еще не обрушилось на их захудалый продмаг, но и голодная смерть, кажется, не грозила Русинову. Была та пограничная пора, когда люди с остро политическим складом ума восклицали: «Народ голодает!» – но те, кто увлекался новейшими теориями голодания, холодно возражали: «Жрать надо меньше». Русинова теперь мало тревожили продовольственные трудности и почти не утешала еда. Он переживал странное, мучительное и тревожное время жизни. Краткое сообщение в разделе юбилейных заметок «Литгазеты» о том, что С.Я.Русинову (это еще кто такой?) исполнилось пятьдесят лет, не то чтобы застало его вовсе врасплох (тем более что очередь публикации дошла через полгода после этого неяркого праздника нашей литературы), но все же сделала невозможным дальнейшее неведение с его стороны. Он больше не мог делать вид, что ничего не случилось. Что можно как-то проскочить этот рубеж и жить по-прежнему. Делать вид, что, в сущности, ничего не произошло. Во всяком случае, ничего нового...

Нет, нет, голуба, что-то произошло, случилось. В самом воздухе его запущенной и вечно пустующей московской квартиры пахло переменой. Перемена эта не была ощутимо материальной, физической: по-прежнему, как все последние года, уже лет пятнадцать, ныло сердце; по временам, в ответ на излишества, начинал барахлить какой-нибудь орган тела, но все это было уже привычно, и Русинову чаще всего хватало духу припомнить старый анекдот (если ты проснулся и у тебя ничего не болит, значит, ты уже просто умер). Перемена эта была какого-то другого, более эфемерного, а вероятней всего, психического свойства. Она сказывалась прежде всего в том, с какой настороженностью он искал теперь в себе перемены. Вглядывался в лица прохожих – как они его воспринимают, что они думают о нем – девушки, дети, подростки. И

отмечал со страхом, с каким-то словно бы даже мазохическим злорадством: так и есть – старик! Однажды в троллейбусе он оказался прижатым вплотную к какой-то пожилой женщине. С жалостью глядя на ее дряблую шею, на испорченную кожу, на сеть морщинок, он вдруг осознал, что это его сверстница, подруга, одноклассница, сокурсница, может, даже бывшая возлюбленная – разве узнаешь ее теперь? Значит, и он такой! Нет, неправда, не может быть, он еще не такой. Нет, он не такой и все же – такой...

Впервые у него стали появляться сложности в отношениях с женщинами. Они, может, еще и не замечали, что ему, что он... Но сам-то он знает, так что не скроешь. Может, если бы он взялся проверить свои страхи на какой-нибудь новой связи... Но он не решался ни на что – лежал на кушетке, листая книги, перебирая бумаги, тоскливо глядя на стену. Раньше спасением от маразма были женщины. Теперь они вдруг исчезли, все разом. Спасением его были путешествия, однако он больше никуда не ехал. Для первого шага надо было встать с дивана, надо было озаботиться, физически и денежно, надо было куда-то идти, хлопотать, покупать билеты, а сил не было ни на что. Он наездился, вероятно, отъездил свое: в памяти издевательски ворочались строки любимого поэта:

Итог один, весь век ты просидел ли дома,  
Иль из конца в конец мир исшагал, – ничто.

Главным спасением его жизни всегда была работа. Но уже давно стало ясно, что ему не напечатать и пятой доли того, что он понаписал в своем неистовом рвении. Во всяком случае, не напечатать при жизни, а кто станет печатать потом? И так ли это важно – что будет потом? Книжки, книжки, книжки... Черному рынку за глаза хватит Бражелона. Издательствам нужно еще меньше: дай Бог обслужить родных и близких. А книжной полке... «Составлять много книг – конца не будет, и много читать утомительно для тела...» Он прислушивался к своему телу, отмечая его утомленность. Утомленное тело... Как всегда, права была Книга: не для духа утомительно, для тела. Утомленный дух его тоже, впрочем, стал раздражительным и нелюбопытным. Кто-то занес недавно Русинову два журнала оттуда, из тамиздата, один русский, другой русско-еврейский, по рекламе как бы сионистски-патриотический, а на деле вполне ностальгический и прорусский. Перелистывая оба, Русинов удивлялся неистребимой молодости этих людей (почти все они были его сверстники, бывшие его сокурсники): им все еще не надоело разоблачать несовершенства власти, оставшейся далеко за кордоном, в их несовершенном прошлом. Из своего прекрасного (и, судя по всему, тоже вполне неустроенного) далека они до последней спицы разбирали нашу громоздкую колесницу, влекомую сказочной птицей-тройкой, вспоминая все неудобства передвижения в этом транспорте, а также кровавого ее возничего, уже почти тридцать лет как покинувшего грустный полигон своего культа. В том знойном, полуденном мире, куда они рвались, чтобы забыть и уснуть, они стали добровольными и даже чаще всего бесплатными советологами. Они хотели открыть миру глаза на бесчинства усатого, однако эти запоздалые откровения нужны были им самим, а не миру – это была форма ностальгических мемуаров. И еще форма самоутверждения в этом с жиру взбесившемся раю: «У вас тут ужас? Вот, помню, у нас был ужас». И что им до того, что миру не страшны чужие (к тому же вчерашние) ужасы, не страшен чужой ад и что нет ничего страшнее собственных временных трудностей... «На самом же деле нет ничего страшнее возраста...» – думал Русинов.

В то утро, когда он вернул журналы, так и не дочитав до конца, солнце успело раскалить асфальт до душенья. Русинов сел в троллейбус и поехал в Серебряный Бор. Здесь, совсем неподалеку от его дома, он обнаружил сосны. А за соснами, у воды, был даже городской пляж, немногочисленный еще в эту пору первого солнца. Русинов вышел к воде, постоял, не раздеваясь. Какая-то дама обернулась, разглядывая его, – не сильно молодая, но и не старая еще дама, – и тогда он, в свою очередь, стал ее разглядывать. Ее майка, «ти-шерт», несла на груди рекламу

каких-то джинсов, а джинсы, неуклюже сжимавшие ее бедра, рекламировали еще что-то на самом задку. Русинов почувствовал раздражение – почему люди так охотно соглашаются рекламировать чужие товары? Ну ладно, здесь их нет, товаров, одна реклама, но там, где они есть – в Париже, в Лондоне, – там ведь тоже... Под боком у Русинова взвыл певец в бигбитовой жалобе. Два юноши терзали отечественный магнитофон, затыкая палочки под разломанную кассету. Певец заткнулся так же неожиданно, как взвыл. Русинов хмыкнул с торжеством, но торжество его было омрачено непрошеной мыслью о том, что это тоже – симптомы старости. То, что он не любит бигбит. Что ему отвратительны майки «Вранглер» и «Лумз фрут». Мода должна нравиться человеку. Особенно если это молодежная мода. Ведь он и сам еще лет десять назад мурлыкал «Ай уонт ту хоулд е хэнд» – и вот он сдал. Более того, ему не нравятся эти юноши с магнитофоном, – вероятней всего, они глупы, абсурдны, уверены в своей юной непогрешимости. Да, конечно, их гладкие тела могут представлять соблазн для девочек и стареющих дам, однако их резкие голоса, их головы, их речь – Боже сохрани. Это ведь тоже признак старости: мода должна всегда нравиться, а молодежь внушать энтузиазм. Вспомни Васю, вспомни старика Сартра, который до самой смерти, а ведь прожил немало...

Две девчонки лежали у самой воды, держа над головой толстые романы. «Анатолий Иванов, – машинально прочел Русинов, – Вадим Кожевников...» Ну да, а что они могут читать? Томаса Манна? Стерна? Даже Дюма – аристократическое чтение, его еще достать надо. Девочка с Кожевниковым была худенькая, курносая, трогательно белая после зимы. Русинов подумал, что все это долго не продержится – ни ее белизна, ни ее худоба, ни ее юная миловидность... Он заговорил с ними неожиданно, как заговаривал тысячу раз до того, в метро или на пляже, – без всякого повода и без опасения нарваться на грубый ответ.

– На такой толстый роман жаль жизни, – сказал он полусерьезно-полуигриво, но они взглянули на него с насмешливой враждебностью.

– Вот детей своих приведете на пляж – тогда и учите, – сказала та, что читала Иванова.

– У вас что, лучше есть? – спросила та, что читала Кожевникова.

Русинов не ответил. Он думал о том, что ему досталось поделом, по заслугам, потому что, озабочься он вовремя, он мог бы привести на пляж не только детей, но и внуков. Все правильно, они правы. Нечего приставать к молоденьким...

Русинов побрел на троллейбусную остановку. Долго стоял, не зная, куда теперь поехать, чем заняться. Надо было как-то убить время. Страшное занятие. Время было драгоценным, его оставалось так мало. Но и это бесценное время надо было тянуть. Надо было убивать.

Он решил поехать в город, попытаться выйти из этого тупика... И вдруг почувствовал усталость. Он всегда искал, откуда пришла усталость. («Вчера выпил немножко». «Переусердствовал в постели». «Сегодня получил худые известия...»). Сейчас ему впервые пришла в голову фраза – дурацкая, напыщенная фраза «устал от жизни». А что? Вполне возможно. Очень реалистическая фраза – все вместе было жизнью, и почему ж ему было не устать от всего этого?

Он решил, что поедет домой и поставит чай. С одной стороны, чай – это все же неплохое занятие. С другой, он теперь хуже спал, напившись чаю: засыпал, просыпался через час – ныло сердце. Можно было позвонить, позвать кого-нибудь в гости, но рука не поднималась на телефон. Он знал, что это ничего не изменит, а сердце будет ныть потом еще больше.

Дома он читал Книгу. «Они, дошед до бесчувствия, предались распутству так, что делали всякую нечистоту с ненасытностью».

В нем тоже всю жизнь была эта безвозрастная ненасытимость...

Книга усилила ощущение краха, ставила под сомнение все, что было им написано. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Вера. Вот это был главный его просчет. Он хотел верить и не умел. Не сумел. Он и сегодня читал Книгу как просто книгу, радуясь ее поэтичности,

протестуя против жестокости, усмехаясь порой, когда мудрец обнаруживал вдруг признаки человеческой слабости, воспаряя душой навстречу близкой ему мысли... «Нет уже Иудея, ни язычника...»

«К свободе призваны вы, братия, только бы свобода наша не была поводом к угождению плоти; но любовью служите друг другу». Вот тут и потерпел он крах – даже не в своем постоянном угождении плоти, а в неумении любить. Он не научился любить, не выполнил главную заповедь Книги. Следуя желанию, а чаще попросту инерции, он населял свою жизнь женщинами, не умея любить их по-настоящему. Ничем ни разу он не рискнул во имя любви. Не принес никакой жертвы. Не растворился в другом существе. Не дошел до конца. Сберегал себя и, сберегая, потерял. Вот разве что сын... По всем приметам, именно к сыну он прилепился душой. Женившись, он не отлепился от матери, только ее смерть прервала контакт (и то не сразу, нет!). И вот сын! Сына он любил по-настоящему. Любил – а теперь?

Русинов схватил трубку, набрал первые четыре цифры, нажал на рычаг. Звонить ему небезопасно. Можно «схлопотать по фейсу». Во всяком случае, надо подготовиться, придумать что-то. Новая книга. Сувениры. «Есть лишние пара копеек – может, тебе сгодятся». Вот так еще куда ни шло. И главное, чтобы голос звучал понебрежнее. Он уже не мальчик и совсем уж не переносит теперь этой отцовской унижительной слабости, называемой любовью. Той самой, которая и есть Бог...

Сын, как всегда, спешил закончить разговор. Может, оттого, что вел его из стана врагов. Вечных твоих врагов. Русинов с плебейским недоверием выслушивал рассказы знакомых интеллигентов о том, как мило они «дружат семьями» с бывшей женой или бывшим мужем. Дружат новыми семьями. Угощают друг друга кофе (даже не нассав предварительно в чашку). Нет, он бы, может быть, тоже не нассал в чашку и даже не подсыпал яду, но дружить... Еще и дружить... Итак, он придет завтра с утра, твой мальчик. Ему как раз пригодятся пара копеек, да и старика пора навестить. Хочет рассказать о чем-то. О чем же? Может, у него любовь?

Приближалась ночь. Комендантский час бессонницы. Живые выключались из игры, засыпали – завтра им на работу. Русинов оставался в пустом городе...

Раздался звонок. Это было так неожиданно, даже слегка пугающе. Те, кто хорошо его знали, не звонили сейчас, знали, что он все равно не подходит. А может, его нет в городе – исчез... Телефон упорно звонил, и Русинов не преодолел соблазна – снял трубку. Совсем незнакомый голос. Катя. Какая же Катя? О Боже, та самая, с которой они учились вместе, когда-то, лет, тридцать тому назад, Катя из его группы, как же, как же, очень милая девочка, круглая отличница, вместе готовились по марксизму и еще по чему-то, кажется, по стилистике, у нее же были лучшие конспекты. Готовились у нее дома – интересно, почему я не приставал к ней, не умел или не хотел? Скорей всего, хотел, но не умел, а теперь вот умею, может, даже сумею. Но не хочу. О чем-то она просит, очень просит. Нет, не просит, просто это она поздравляет его со славным юбилеем и желает творческих... – что еще за херня! Она прочла в газете и теперь присоединяется к профкому, к местному и партийной организации. Но вот зажурчало что-то осмысленное – он прислушался: ну да, она на полгода старше его, и у нее тоже было это. Она через это прошла. Так и сказала: это. Ну вот... когда пятьдесят. Она долго мучилась, перенесла это с трудом. А потом все же привыкла понемногу. Примирилась. Пошла дальше. Интересно, куда это она пошла? И как примирилась? О, это длинная история. Что ж, у нас есть время. Мы никуда не спешим. Ночь? День и ночь – сутки прочь. Драгоценные сутки оставшейся жизни. Нет, нельзя, ей днем на работу, она работает, ведь возраст все же еще не пенсионный. Вот завтра вечером, если он хочет, она может заехать и все рассказать. Она домой не спешит. Дети уже большие. А мужа нет. Так что если это удобно. Удобно ли ему? Безразлично. Мало-помалу он сообразил, что она говорит о другом удобстве. О том, прилично ли это. У него, может быть, семья, впрочем, кое-что она слышала. Тем более, если нет семьи, удобно ли... А что, это было бы даже забавно. Она продолжала про удобство: одинокая женщина к

мужчине. Из какого же это все года? Да, помню! Из 1949-го. Она такая. Впрочем, она была симпатичная девочка. Однажды она прикоснулась к нему в передней, когда он уходил... А что, может, было бы хорошо. Тогда. Но оба они не умели. Придя от нее домой, в том сорок девятом, он, наверное, компенсировал эту свою очередную неудачу обычным пацанским способом. Теперь ему и это было не нужно. Зато возник еще один непроигранный вариант его жизни. Сенья и Катя. Предположим, что они бы поженились, нарожали красивых и здоровых детей...

Он долго лежал без сна. Он занимался совсем новым, стариковским видом мастурбации, мысленной мастурбацией, – проигрывал варианты своей жизни. Своей проигранной жизни. Ее непроигранные варианты.

\* \* \*

Сын пришел на три часа позже обещанного. Он забыл, что он такое хотел рассказать важное. С ходу начал про выборы в Америке и перестановки в израильском правительстве. Он горячился, нехорошо обзывал нового президента, хвалил старого и восхищался каким-то израильским начальником, то ли Даяном, то ли Бегином (кажется, танец был такой, «уэн ю бегин дэ бегин...»), впрочем, может быть, и даян тоже был танец, какая разница, кто они были, эти двое, шустряки, наверно) – сын был о них очень высокого мнения и говорил что-то в том духе, что им палец в рот не клади (изъясняясь, конечно, на более современном, вполне структуралистическом и войс-американском уровне, да, и еще, конечно, это: шолом-шолом, кол исраел). По всему этому Русинов мог догадаться, что местечковые настроения в том, другом лагере достигли столичного накала – ах, как трудно было бы дружить семьями, ах, как сладко!

Русинов слушал его, не перебивая, думая с грустью о том, в какой суете мы проводим золотую пору своей юности, в какой суете, в каком абсурде. Впрочем, у Русинова и не было необходимости подавать реплики: сын без того знал его пренебрежительное отношение к политическим деятелям, к демократическим выборам, а более всего – к благородной идее национального превосходства, зреющей в атмосфере расовой недооценки и даже дискриминации, – так что, речь сына была с самого начала полемически острой.

– Да, очень интересно ты мне все это рассказал, – сказал Русинов по окончании двухчасового монолога. – А вот, взгляни, что тут тебе привезли из туманной Англии.

После вручения даров и денежного вспомоществования сын ушел, лишь углубив своим бурным визитом прохладную пропасть одиночества. Честно говоря, страдания Русинова по этому поводу уже утратили остроту. Мальчик вырос. Он был еще сын, но больше не был ребенок. Это был почти что взрослый мужчина, не очень похожий и не очень близкий человек – вечно возбужденный, безыюморный, блистающий ненавистной Русинову фанаберией, которой так гордилась в дни своей юности экс-мадам Русинофф. Ах, как жалко было выпускать его из-под крыла в пору нежного детства! Сколько было обид, терзаний, борьбы! Теперь все кончено, борьба давно проиграна. Заодно стало очевидно, что это была безвыигрышная лотерея...

Русинов побрел в магазин, ибо вечером еще предстоял визит институтской подруги. Купить в местном продмаге было, конечно, нечего, однако он честно выполнил долг гостеприимства: он искал, он даже приобрел кое-что. Доброжелательное отношение продавщиц несколько компенсировало ему бесстыдную пустоту прилавка: они вместе обсудили трудности снабжения, и в заключение беседы Русинов купил пачку сахара и банку афганских маслин, не превосходящих размером наш отечественный крыжовник, но уступающих ему во вкусовом отношении (несомненно, это все происки афганских реакционеров – и жалкие размеры, и низкое качество этих маслин).

Ожидая прихода институтской подруги, Русинов пытался представить себе этот визит на улицу детства, к развалинам старого дома. Как правило, такие экскурсии не пробуждали в



нем никаких воспоминаний. Они даже не помогали разместить в пространстве, локализовать старые, стершиеся, зачастую даже и не собственные, из вторых рук, воспоминания, и все же...

Конечно, он ни за что не узнал бы ее, если бы она не явилась точно в назначенный час, не потопталась у двери, не сказала робко: «Ну вот, это я, Катя, явилась, не запылилась. Как? Можно еще узнать?»

Он нагло закричал, что да, можно, еще бы, из тысячи узнаешь, ни чуточки не изменилась за эти двадцать пять – тридцать, что они не виделись, смешно даже говорить... Самое странное, что еще через полчаса ему и впрямь стало казаться, что она не изменилась нисколько, такая, как была. Отчасти потому, может, что они выпили, а отчасти и потому, что совершенно не изменились с институтских времен ее образ мыслей, строй ее речи, милая для него когда-то манера шутить (может, она проносила их с упорством через все испытания своей взрослой жизни как лучшее, что у них было тогда, в конце «сороковых-роковых» и в начале пятидесятых, тоже вполне засратых лет, в годы их золотой студенческой юности). Конечно, она была довольно странное и трогательное существо: взрослая женщина, употреблявшая инфантильный жаргон послевоенных лет, те же самые штампы, те же самые восторженно-ублюдочные прописи. Это было бы еще трогательней, если бы им все-таки не стукнуло полста. Впрочем, и физически она вовсе не стала безобразна, наоборот, она слегка округлила и сгладила некоторые девичьи дефекты своей наружности. Она не стала ни дряблой, ни дряхлой, она могла бы с ним самим поспорить по части этого жалкого возрастного обмана, так что она была еще бабка хоть куда, и он готов был признать это, хотя давно уже не ценил никакого бабского возраста, предпочитая общество девочек и девушек. История ее семейной жизни была, что называется, буднично-героической. Муж бил ее, напиваясь, и покидал, протрезвев. Он рано оставил эту грустную юдоль алкоголизма и молодую вдову с двумя детьми, которых она вырастила, воспитала как положено и даже обучила в каких-то вузах, на самом что ни на есть высоком уровне, в соответствии с преподанными ей самой уроками. Слушая ее рассказ, Русинов думал о том, что ее рослые красивые дети, наверно, учились, работали и занимались комсомольско-профсоюзной работой, а не трепались про Даяна, как его собственный недотыкомка. Она же и теперь еще возглавляла местный комитет у себя на работе, редактировала желдорлитературу, вероятно тоскуя время от времени по литературе художественной. Русинов догадался об этом по трепетному придыханию, с которым она спросила о его творческих планах. Он сказал, что мечтал бы написать роман величиною с ладонь, как только у него появится трудовой зуд в ладонях. Она заморгала не понимая, но потом вдруг вспомнила – Чехов, ах да, Чехов, Чехов и Левитан, Лика Мизинова, критик Малюгин, «Вишневый сад», хорошая будет жизнь лет через пятьдесят (вот мы их и прожили – свои пятьдесят, еще пятьдесят). Он повел рукой по своим полкам, забитым рукописями, сказал надменно: «Видите, как много написал я вам своею рукой», и она сразу уловила, что это цитата, даже, наверное, стала думать, откуда – Гоголь, Пушкин, Ленин, Ем.Ярославский, Анри Барбюс, Салтыков-Щедрин, Чернышевский, Луи Арагон... И Русинов понял, что ей никогда не добраться до источника, потому что они ведь не только не проходили в своем вузе творений апостола Павла, но и не видели этой Книги в глаза, а следовательно, разговаривать с ней можно только вполусерьез, вполтона, как он говорил с сыном, а еще лучше – ниже пояса, потому что она, наверно, могла понимать все земное и женское, несмотря на явную ограниченность (а может, даже благодаря ей) своего женского опыта (как правило, алкоголики все же не злоупотребляют сексом).

Ей, конечно, страсть как хотелось поговорить с ним о литературе, потому что ведь он теперь занимался этим, а когда-то они вместе занимались этим (подразумевалось, что он это самое и делает, чему их так складно учили в их институте), и притом ведь она хорошо училась, была круглая отличница, так что ей доподлинно было известно, что можно, а чего нельзя писателю (и что, следовательно, идет против правил литературы). Так вот, она хотела узнать, соблюдает ли он все эти правила, которым их когда-то учили и которые они вместе сдавали.

(Помнишь, мне поставили пять, а тебе четыре, и тебе пришлось пересдавать, чтоб иметь повышенную стипендию, ты что не помнишь, ты же вытащил «Сталин как редактор», а второй вопрос «Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград?») Он хотел вякнуть, что у него десять лет ушло на то, чтобы вытряхнуть из головы все эти дурацкие правила, а потом еще десять на то, чтобы забыть о читателе (Как же так? Писатель пишет, читатель читает! – Да нет же, редактор читает, потом еще главный редактор читает, потом цензор, но это уже после того, как ничего не осталось, да на кой хер мне все это, какое мне, в конце концов, дело до читателя?), – но он, конечно, ничего ей не сказал, просто еще раз повел рукой по своим полкам.

– Мура собачья все это, суета сует, – сказал он в конце концов. – Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.

– Но ведь это так прекрасно – творить для народа, – сказала она, невинно шлепнув немолдыми уже ресницами, милая Катька, комсомолка и целка из пятидесятых-порхатых, сокурсница, однокашница...

Он вдруг вспомнил: ключицы у нее были тоненькие, а на носу веснушки, да вон и сейчас есть, потому что весна.

С удивлением, да что там – просто, можно сказать, с изумлением, он обнаружил, что его некогда неутомимый осел, его плоть, полузабытая в агонии этих последних недель, вдруг возродилась к жизни, шевельнулась в нездоровой атмосфере синтетика, ожила в результате столь малозначительного события и по столь ничтожному поводу – он всего-навсего погладил веснушки у нее на носу. Он обнял ее, притянул к себе и понял вдруг, что она ждала этого. Может, в ее одинокие годы вдовства ей думалось тоже не раз о непроигранных вариантах жизни, о непройденных и навсегда утраченных путях.

– Хорошо ли это будет? – спросила она неуверенно.

Он понял, что ее вопрос относится к морально-этической стороне предстоящего акта, – а не к возможностям успешного его завершения.

– Кто ж его знает, – сказал он, ставя под сомнения и этическую ценность, и чисто физиологический результат копуляции. – Попробовать все же можно...

Его ждала приятная неожиданность: она забылась в первом же их влажном, продолжительном поцелуе. Кажется, она даже потеряла сознание, и это было, конечно, очень трогательно. Он опустил ее бездыханное тело на свой долготерпеливый диван и стал бережно ее раздевать, отмечая более чем умеренный достаток в доме одинокой редакторши. Тело ее тоже неплохо сохранилось в одиночестве супружеской и вдовьей жизни, но неопытность ее была настолько полной, что он, общаясь постоянно с младшими поколениями, успел позабыть, что такое неведение еще бывает на свете...

Было ли хорошо? Он не смог бы вспомнить уже через час, как оно было, все это. Что-то там было. Хорошо, впрочем, уже то, что не заныло потом сердце. Что не было излишних гигиенических опасений...

Они глядели в потолок, думая, о чем же им говорить дальше. У него было смутное и тягостное ощущение, что он переспал с родственницей. Может, даже с первой женой. Не вполне пристойный случай. Нечто вроде инцеста.

Он клятвенно обещал ей не презирать ее утром (не избежав при этом мысли, что лучше всего было бы все же проводить ее вечером). Обещал не считать ее падшей женщиной, обещал, что он сможет смотреть ей в глаза и что он никому ничего не скажет. Ночью она все рассказывала о своих семейных тяготах, и ему стало вдруг так грустно, что впору завывать. Он спросил ее, что она помнит о нем тогдашнем, о Семке-студенте, любимчике группы. Она помнила много, куда больше чем он сам, говорила о нем с нежностью и нарасказала такого, что он в конце концов проговорил с изумлением:

– Это я был такой? Ну и засранец! Нет, это все правда?

А он-то еще грешил на сына! Да сын был Спиноза по сравнению с этим недоумком, с этой звездой студенческой группы, с этим членом профкома, записным поэтом, остряком-самоучкой, поставщиком крокодильских шуток, карбонарием бздиловатых годов. Она заскрежетала зубами, когда она прочла наизусть добрый километр его тогдашних стишат, по сравнению с которыми даже когановская «Бригантина» казалась зрелым Гумилевым.

«Нет, нет, дорогой Сема, – сказал он про себя с мягкостью, снисходя к своему возрасту и подорванному здоровью, – нет, нет, путешествие в прошлое не открыло ничего утешительного... Теперь надо бы отвезти нашу Шахраду в ее Орехово-Борисово, чтоб она перестала терзать машину времени...»

Впрочем, он уснул, сам даже не заметив, когда и как это случилось. Проснулся от дружеского чмоканья. Она была уже в плаще. Она послала ему от двери последний воздушный поцелуй.

– Это как сон, – сказал он и поспешно закрыл глаза, надеясь уснуть снова.

Хлопнула дверь квартиры. Она ушла. Он был свободен, но все было плохо. Из рук вон плохо. Он прожил в этом ощущении еще два дня. На третий день он снова собрался на пляж, потому что солнце ярко светило в грязные окна его квартиры и ослепительно блестела напротив панельная стена дома.

На пляже он чувствовал себя старым и неуклюжим. Хотелось зарыться в песок поглубже, спрятаться, но песка было недостаточно для такой операции, и песок был грязноват. Ворочаясь с боку на бок, он поймал на себе веселый взгляд юной соседки.

– Старость не радость! – сказала она.

Может, она просто хотела заговорить с ним, а не обидеть его, но он покривился, как от боли, и отвернулся, ничего не сказав.

Под взвизги транзисторов и девиц Русинов задремал в конце концов, но был разбужен вскоре каким-то сопеньем и шарканьем у своего правого бока. Он открыл глаза и увидел толстого человека. Человек посопел, пошаркал босую ногой еще немного, потом сказал:

– Мне показалось, что мы с вами знакомы. Мы с вами познакомились, и это я помню очень хорошо. Я вам даже скажу где. В доме творчества... В Малеевке. Вы еще стояли возле дерева. Помните? Неужели не помните? У меня вообще очень хорошая память. Я раньше писал стихи. Кстати, я читал вашу повесть... – Он переступал с ноги на ногу и сильно маялся.

– Да, да, конечно же, мы познакомились, – сказал Русинов, сам страдая от своей забывчивости и желая поскорей облегчить страдания сопящего человека. – А следовательно, мы знакомы. Я Семен.

– Меня зовут Аркадий. Я читал вашу повесть, которая еще не напечатана...

– Уже не напечатана, – сказал Русинов, пряча взгляд: он был приятно польщен, такая известность. Редактор его искромсанной книжонки, которая вышла в солидном издательстве, сказал ему однажды, что современный писатель вроде айсберга – на поверхности у него вот такая книжонка, а под ней – горы ненапечатанного. Это было тоже лестно – быть айсбергом, но лучше все же, наверное, быть одним из Вайнеров или, на худой конец, Ваксбергов и что-нибудь издавать время от времени.

– Я и сейчас иногда пишу стихи, – сказал толстый Аркадий, – так что в стихах я профессионал. Работаю я скромным редактором в журнале «Отдых трудящихся». Есть такой журнал. Между прочим, я мог бы вас отправить в какие-нибудь места, где отдыхают трудящиеся. В командировку. Наш журнал дает командировки.

– Без хлопот? – спросил Русинов, мысленно прочертив в небе пушистую линию, по которой он из мест неизбывной маяты перенесется в места отдыха трудящихся.

– Совершенно без хлопот, – сказал Аркадий. – Хоть сегодня.

– Тогда лучше завтра, – сказал Русинов. – И куда именно?

– На ваш выбор. Можно даже в Крым или в Прибалтику. Есть прекрасная тема...

– Или в Карпаты, например, там гуцулы, русины...

– Можно и туда – если вас интересуют гуцулы, – сказал человек Аркадий. – Приходите завтра в двенадцать к нам в редакцию. А сейчас я совершу большой сорокаминутный заплыв, чтоб быть в форме. Я очень далеко плаваю.

– Я за это время, пожалуй, доберусь до дому, – сказал Русинов. В последний раз взглянув на Аркадия, он подумал, что этот человек выбрал для себя очень крупную форму и вот – доволен ею.

\* \* \*

В последнее время Русинов относился к себе самому с особенным недоверием, ожидая каких-то эскапад, истерик или срывов. Он и всегда смотрел на себя несколько со стороны, с недоумением и страхом. Отчасти это было связано с его профессией, точнее, с изумлявшей его самого способностью к сочинению книг. Не зная и не понимая досконально, из какого источника берется эта способность, он все время пытался дойти до этого источника и опасался, что не сегодня-завтра иссякнет эта его замечательная способность. Оттого он привык доискиваться до тайной пружины своих собственных действий, искать их в стороне от видимых и слишком явных мотивов.

Так и сегодня с утра, собираясь в редакцию к толстому Аркадию, он мучительно искал, откуда все же это пошло. Нет, с командировкой было все ясно. Надо было уехать, просто не было сил сделать первый шаг. Но почему не Кавказ и не Крым, почему не Прибалтика, почему именно Карпаты? Откуда взялась фраза насчет гуцулов и русинов?

При чем тут гуцулы и русины? Русинов нырял в темные глубины подкорки, откуда был, по всей вероятности, получен этот сигнал, искал и не находил. Откровение, плававшее, как обычно, на поверхности, посетило его уже в метро: ну, конечно, его дедушка с отцовской стороны был Русинов и его отец, стало быть, тоже. Более того, он и сам был Русинов. В эту маразматическую пору кризиса, в тупиковой ситуации, в которой он оказался, он и впрямь не видел, к кому можно обратиться за помощью, если тебе стукнуло пятьдесят, хотя вчера еще было сорок (его нежно любимая мать, к которой обычно он обращался, ушла из жизни как раз в этом возрасте). И вот этот неведомый, таинственный импульс, который у него всегда был несказанно сильнее, чем его собственный ленивый ум и его вихляющая логика, подсказал ему, что опору надо искать где-то в истоках. В стране предков и праотцов, на исторической родине (в редакции, когда он писал заявление главному редактору с просьбой послать его в командировку, он с трудом преодолел соблазн написать – «отправить меня на историческую родину за казенный счет»; он удержался от этого, сознавая, что ни главный редактор, ни даже его собственный безыюморный сын – плоть от плоти, но не дух от духа – не оценят такой вполне реалистической формулировки). Ты уже за шеломянем еси, за Карпатскими горами, взгляну же на тебя еще раз, поворошу пепел, который не стучится в мое сердце, и, может, все же шевельнется в нем что-нибудь под пеплом перегоревшей жизни, в моем неровно стучащем сердце...

С оформлением командировки все прошло гладко, правда, не в пять минут, но в пятнадцать уж точно дело было закончено – тему придумал сам главный, и он очень гордился свежим заголовком («вкусный кусочек, старики»): «Человек нашел счастье». Речь пойдет о культурнике турбазы, который нашел свое счастье – в труде, конечно, в верности своему культипризванию, своему культу. Теперь еще предстояло найти культурника.

– Культурник? Массовик? – глубокомысленно проговорил Русинов на аудиенции у главного. – В этом что-то есть...

– Да, ты творчески подойди, – сказал главный. – Без дураков надо делать. По-большому.

– Вот именно, – сказал Русинов. Он-то уж точно знал, что делать надо по-маленькому и с дураками – точнее, для дураков, не то куча эта пролежит три года, а потом ее потеряют

вовсе. Лучше же вообще ничего не делать – уж он-то, слава Богу, поездил в командировки! Так лучше будет для всех...

Через час он получил аванс и купил билет. Сын прощался по телефону торопливо, и, разговаривая с ним, Русинов с тоской вспоминал, какой он был трогательно-зависимый всего лет двадцать тому назад, когда он хотел писать, зимой, на морозе, и никак не мог расстегнуть ширинку (одевали его всегда в чьи-то обноски, считалось, что это красиво и практично). Повесив трубку, Русинов со вздохом признал, что это было эгоистическое и нелепое желание – застегивать ему ширинку до конца его дней, даже до конца собственных дней, все равно слишком долго – безграничный эгоизм родителя-самца.

Русинов не любил сборы. Обычно он поручал эту процедуру какой-нибудь из проходящих женщин. В нынешнем одиночестве он вернулся к испытанной методе – швырял в рюкзак все, что ни попадет под руку, пока рюкзак не станет неподъемным: кипяtilьник, Книгу, слюварь, антологию английской поэзии, толстенный роман Фаулера, ботинки-вибрамы, запасные джинсы, куртку...

Когда он свалил рюкзак на пол трамвая, подвозившего его к городскому аэровокзалу, он вдруг почувствовал, что путешествие началось и что оно спасает. (Слава сопящему толстяку на пляже! Слава невидимому айсбергу нашей литературы и командировочному вайсбергу нашей периодики!) Он еще потосковал немного в автобусе-экспрессе, но уже в аэропорту начал с интересом смотреть по сторонам, отмечая явления внешней жизни, начал возбуждаться по мелким поводам. Он отметил, что «Аэрофлот» сбросил маску буржуазной благопристойности и больше не считается с расписанием, с часами и сутками. Ну, посидите вы еще час-два, еще день-другой в порту... Никто больше не роптал. Пассажиры позавчерашних рейсов со счастливым криком устремлялись на долгожданную посадку, высаживались снова, пересаживались (скоро все войдет в колею и станут даже давать запасные дни на командировку). Стюардессы еще извинялись по радио за невольное трехдневное опоздание, но уже не принимали своих извинений всерьез.

Русинов втянулся в аэропортовскую рутину. Прежде всего надо было отыскать сторожа для своего рюкзака, брошенного в грязном углу возле урны. Надо было поссать, а потом занять очередь в буфет. Надо было позвонить куда-нибудь, раз уж ты в Москве, возле телефона...

Самой надежной кандидатурой для охраны матценностей показался Русинову нервный юноша в пиджачке горчичного цвета. Русинов понял, что вступить с ним в контакт будет нетрудно. Достаточно было полслова, дополнив которое юноша продолжал бы говорить сам, и при этом говорить без умолку. Полслова могли быть любые, например «обалде-», «столпо-» или «аэро-».

Он подхватил сразу:

– «Аэрофлот»! Вот именно! Летайте самолетами «Аэрофлота», если у вас железные нервы. Надежно! Выгодно! Удобно! Трое суток, проведенные в десяти километрах от дома. Потом два часа лету, и еще два часа ждешь багажа, пока его везут на телеге и мужики уминают ногами твой чемодан.

– Да уж, столпо...

– Столпотворение. Вавилонская башня. Библейский потоп. Ковчег. Вон та бабуса ждет на Ворошиловград третьи сутки. Она ушла бы пешком с котомкой, но отсрочку рейса дают только на два часа...

Ему было лет семнадцать, и у Русинова защемило сердце. Он был так не похож и так похож на сына – та же агрессия, тот же захлеб, та же незащищенность, та же неуверенность под маской самоуверенности, та же никчемность... Путешествие разбудило боль, агония безразличия кончилась.

Русинов и юноша заключили охранный союз.

– Идите первый, – сказал юноша, – Я покараулю. В сортире я уже был. Для мужчины первое дело – поссать.

Пробравшись через толпу в верхний зал. Русинов справил все свои нужды, посетил почту и буфет, после интимного совещания с продащицей книжного киоска купил из-под полы какую-то книгу. Когда покупаешь из-под полы, в зубы не смотришь. Продащица сказала: «Хорошая, не достать». Вырвавшись из толпы, окружавшей киоск, Русинов с удивлением обнаружил, что книга называлась «Психология старшеклассника».

– Ну и ну... – сказал он озадаченно. – Впрочем, могло быть и хуже. Могли быть очерки о КАМАЗе. Будем почитать...

Юноша приветствовал его как старого знакомого:

– Привет! Все успели? Теперь, если можно, я тоже отлучусь. Пойду позвоню в Таллин. Вы бывали в Таллине? Воинственный город, где чувствуешь себя европейцем. Да, я не представился. Меня нарекли Арсением. Дурацкое, между нами, прозвище. Так что друзья зовут меня просто Арчи. Строго говоря, Арчи – это Артур, а я бы хотел, чтоб меня звали как-нибудь более по-библейски. Например, Давид.

– Пусть Давид, – согласился Русинов. – Для меня это не составит труда.

– Вы просто редкий человек, хотя и взрослый, – сказал Арчи-Давид. – Пожилые люди всегда хотят навязать тебе свой диктат, будь то имя, вкус или жизненный опыт. Моим старикам уже за сорок, а они полагают, что все еще знают жизнь. Жизнь меняется стремительно, теперь все другое, чем было. И в политике, и в сексе, и в искусстве. Все меняется ежечасно, а они хотят, чтобы я знал сегодня, кем я захочу стать завтра. Сегодня я хочу стать искусствоведам, но не исключено, что я буду знаменитым юристом или врачом.

– Вы уже учитесь на кого-то? – робко спросил Русинов.

– Нет, это бы значило до срока навязать себе выбор. К тому же человеческая жизнь не ограничивается учебой, а учеба – это далеко не самый рациональный способ обогащения информацией. Есть еще путешествия, знакомства.

– Ясно. Поэтому вы едете в Таллин.

– Я позвоню в Таллин, и мы продолжим беседу. Чао!

Русинов ошарашенно раскрыл только что купленную книгу и прочел там черным по белому, что все это пацанское безумие есть норма созревания и роста: «Переход к новой фазе развития протекает в форме «нормативного кризиса», который внешне напоминает патологические явления, но на самом деле выражает нормальные трудности роста».

Итак, трудности эти являются нормальными, но они так непомерны, что бедные наши птенцы под их тяжестью начинают вести себя просто как ненормальные. Чего им только не приходится переносить, беднягам, в этот «препубертатный период», да и в послепубертатный тоже. Беспокойство, тревогу, раздражительность, агрессивность, период метаний, противоречивых чувств, абстрактного бунта, меланхолии, синдром дисморфофобии (то есть бред физического недостатка), снижение резистентности организма, а также сензитивность, повышенную чувствительность, эмоциональные реакции, которые, по мнению ребе-психолога, «для взрослого были бы симптомом болезни», а «для подростка статистически нормальны». Прибавьте сюда еще повышенную активность и возбудимость, научно говоря, гипертимность... И чем же я ему помог, своему птенцу, в эту страшную пору его жизни? Говорил я примерно так: «Вот я же не схожу с ума. И в детстве не сходил. А у меня ведь было тяжелое детство». Неправда! Детство теперь еще тяжелее. А их юность? Юность – это возмездие... Мы им тычем в нос бедность послевоенных лет, карточки, недоедание, но разве мы так уж были несчастливы, бездумные оборванцы голодной и бездумной эпохи? Разве не помогали нам все эти заботы о дровах и хлебе пережить метания «препубертатного периода»? И разве умерит тревоги моего мальчика получаемая им неумеренная информация? Это при его-то хилости, при его детскости, инфантилизме. Где-то тут про инфантилизм тоже. Вот! «По данным Калифорнийского лонгитюда,

мальчики-акселеранты в течение целого ряда лет...» Нет, нет, на хер Калифорнийский лонгитюд. Вот здесь, наверное... «Акселерантки превосходят в росте ровесниц-ретарданток, пока те не пройдут период скачка...» Нет, это девочки, Бог с ними, с девочками. Вот! «Ретарданты кажутся окружающим «маленькими» не только в физическом, но и в социально-психологическом смысле. (Где же тут смысл, ребе?) Ответом на это могут быть инфантильные, не соответствующие возрасту и уровню развития поступки, преувеличенная, рассчитанная на внешний эффект и привлечение к себе внимания активность или, наоборот, замкнутость, уход в себя». Да, вполне может быть, ребе, но стиль, Боже мой, какой стиль, какой член все это писал? Таки да, угадал. Кон, так и обозначено, черным по белому – Кон. И не стыдно? Впрочем, пособие ведь рассчитано на учителей, а учителя нынче не владеют французским. Прошли, батенька, времена Анны Павловны Шерер и «скучающей героини», книга служит миллионам, жаль, что тиражи маловаты, но газеты еще служат, у газет хорошие тиражи, а газете вообще достаточно пяти сотен русских слов... Итак, что же у нас дальше? «Судя по имеющимся данным, когнитивная сложность и дифференцированность элементов образа «я» последовательно возрастают от младших возрастов к старшим, без заметных перерывов и кризисов...» Это вы серьезно, ребе? А я что-то не замечал. И возрастания я не замечал, и этого – чтоб без кризиса. Каждое новое открытие не то чтобы просто кризис, а прямо скажем – пинок в морду, а вот это, последнее открытие, мой юбилей, – так просто мордой об стол, и конец, прямо скажем, маячит, без особой когнитивной сложности.

Арчи-Давид вернулся очень возбужденный, но Русинов уже подготовлен был к тому, чтобы принять даже припадок эпилепсии как случай статистически нормальный (спасибо вам, ребе, спасибо, наш ученый, наш моржовый Кон, – и что мы только будем делать, когда на кону не останется даже Кона, когда все они уедут разводить марксизм куда-нибудь за рубеж, – впрочем, тогда ведь не будет и Русинова, а может, не будет и проблем, будет оголтелое всеобщее счастье).

– Я дозвонился в Таллин, моему другу, – сказал Арчи-Давид. – Это очень интересный человек. Из панков. Вы знаете панков?

– Я знавал Панкина. Знаю эту гниду Панова. И чуточку знал Панкова.

– Нет, таких, как в Лондоне? Только наши не выстригают так сильно и не красят голову. Различаются три группы – наркоманы, пацифисты и панки. Еще есть люди, которые собираются на горке у синагоги. Я успеваю во все четыре группы.

– Да, да, – сказал Русинов, поглаживая по картонной башке своего драгоценного Кона («повышенная активность и возбудимость делают подростка неразборчивым» – а может, наоборот, разборчивым, а, ребе? – «в выборе знакомств, побуждают его ввязываться в рискованные предприятия»). У Русинова сердце сжалось от страха – в какую он там ввяжется «сомнительную авантюру», мой птенец? – Да, и что же?

– Ничего. Мы просто разговариваем. Но некоторые все же колются. Главное же в том, что мы не хотим... Не хотим, и все...

– Понятно, – сказал Русинов («отрицание, негативная фаза»).

– У меня, впрочем, есть хотя бы свое дело...

– Простите, я забыл какое...

– А как же! Я буду знаменитым артистом или врачом. Но я ведь еще не оставил искусствоведение. Теперь, когда структурализм поставил вопрос очень реально, современное искусствоведение...

– Да, теперь совсем другое дело... – сказал Русинов. Он решил пропустить мимо ушей монолог во славу структурализма, поскольку до сих пор толком не мог понять, что же это такое. Он вспоминал Польшу. Пятнадцать лет назад все кондукторши, все официантки и продавщицы роскошной польской столицы скромно сообщали о себе, что вообще-то, строго говоря, они вовсе не продавщицы, не официантки и не кондукторши – они изучают «историю штуки»,

то есть историю искусства, они искусствоведки, искусствоведки в штатском, в модных сукенках и колушках, Боже, откуда было набрать штуки на всех этих милых искусствоведок, впрочем, если брать их поштучно – незачем гневить пана Бога, они были так хороши, и нежны, и окружны, и, по совести, не очень уж приставали с разговорами, с этой своей штукой – у каждой из них на крайний случай, на худой конец (опять неудачный каламбур) припасена была своя маленькая штучка... – Да, так что же ваши родители?

– Они не понимают, – сказал Арчи-Давид просто. – Они не понимают, что нам нужны путешествия, чтобы самоопределиться. Не понимают, что они не оставили нам наследия. Мы наследуем через поколение, даже через два...

«Ну что ж, – подумал Русинов, – полсотни лет тому назад с этой хохмой уже можно было ехать в Токио. Во всяком случае, можно было начинать печататься».

– Интересно, есть ли здесь игровые автоматы? – спросил Арчи-Давид задумчиво. – Меня всегда успокаивают игровые автоматы. Что ни говори, в них есть ритм, есть современный нерв...

– Есть, – печально сказал Русинов, вспомнив при этом большой зал автоматов в Каунасе – лето, жара, треск, бесконечно мигающие лампочки, все, «что от прихоти обильной» принес Нью-Йорк нещепетильный... Отчего же они прижились, эти дурацкие электронные ящики? Наверно, их проще производить, чем хлеб, и мед, и приличные книги? Снова мигали лампочки, дитя, пуская слюни, качалось в трансе на какой-то вибрирующей торпедо, юноши кормили пятиалтынными утробу флиппера, стреляли по мишени с полуметрового расстояния; очумевшая от музыки, стрельбы и детского крика, неопрятная женщина меняла родительские рубли на мимолетную мелочь: трах-тах-бах, ура! Кто-то потопил еще одну подводную лодку, кто-то сбил самолет. Наладчик бродил по залу с отверткой: отечественные деньгоеды еще барахлили, заодно он обслуживал бесплатным электронным кайфом каких-то девочек...

– Наши автоматы тоже бывают забавные, – сказал Арчи-Давид. – Но конечно, штатские лучше. УСА – это вещь. А есть один японский, мне фазер рассказывал, в Штатах...

Он, видать, специально полез в эту автоматную, твой бедняга-фазер, чтобы иметь по возвращении тему для разговора, чтоб быть в курсе и на уровне («Вот в Японии, сынок, есть одна штука: полиция ловит гангстера...»). Напрасные усилия, друг мой фазер. Труднее всего им удастся контакт с родителями, тем более с отцом.

Так говорит ребе, уж он-то все это подсчитывал. Древняя история – щеночек хочет встать на ноги, значит, надо облаять старого самца, освободиться от вечного проклятия его старшинства, скинуть гнет тирана, имевшего твою мать, спавшего с ней (даже представить себе трудно, что она могла согласиться на это, но уже ясно, что именно так произошло...). Русинов прислушался к своему собеседнику. Юного Арчи несло уже в другую сторону, ближе к Давиду.

– Пятикнижие, – заявил он, – это, без сомнения, самая древняя книга. Это единственно возможная религия. Все остальное искажение и поздние приписки. Только еврейский народ поставил вопрос о Боге...

Конвергентное мышление. Так, кажется, назвал это ребе Кон в своем талмуде для шкравов. Дивергентное мышление предполагает, что на один и тот же вопрос может быть множество одинаково правильных и равноправных ответов – в отличие от конвергентного мышления, которое ориентируется на однозначное решение, снимающее проблему как таковую. Но как дойти им, хрупким, возбудимым юношам, до спокойствия дивергентного мышления, если даже их старые, замшелые пэры, их старпэры, не поднимаются до него в 999 случаях из тысячи.

– Взгляните на Государство Израиль! – воскликнул Арчи-Давид.

Но Русинов не хотел глядеть на Государство Израиль. Может быть, его час еще не пришел, а может, было уже поздно туда глядеть. Русинов глядел на табло. Им пофартило. Оба рейса, и его, и Арчи-Давидов, засветились точками надежды. Пора было на посадку.



– Что ж, было очень приятно, – сказал Русинов, пожимая руку юноше. – Ваши идеи кажутся мне вполне здравыми... – Под конец не выдержал тона. Сорвался: – Все же постарайтесь проявить снисхождение к вашим старикам, которым этот уровень просто недоступен... Мне показалось из вашего рассказа, что они любят вас.

– Любить-то, может, и любят... То есть, несомненно...

Он со взрослой небрежностью махнул рукой и поспешил в свой почти что европейский Таллин. Пацан. Пацан. Совсем еще пацан...

Подошел вечер. Началась посадка, и день прошел почти незаметно. Главное – это раздробить время на куски, обозначить его вехами забот. Буфет. Билет. Регистрация. Посадка. Пристегните ремни. Сейчас дадут воду. Наш самолет набрал высоту. Мы снижаемся. Надо написать открытку кое-кому, кто не виноват в том, что Русинов вдруг утратил в себе уверенность...

На взлете он выглянул в иллюминатор и увидел внизу русло какой-то высохшей реки. Может, это был давний результат смелых гидротехнических преобразований, но река ушла начисто. Вдоль бывшего русла еще зеленели деревья... Русинов думал о себе. Он был, как одно из этих деревьев. В нем были молоко и кровь ушедшей матушки. Зародыш отца. Он выжил без них, но ему было плохо близ высохшей реки. Временами память почти заполняла старое русло, но влага уже не доходила до корней. Он беззвучно плакал, глядя в иллюминатор, за которым были теперь облака...

В гостиницу он добрался ночью и, по счастью, сразу получил номер. Отдельный. Даже с ванной. Вода, впрочем, не шла. Ему удалось скоро уснуть. Однако и проснулся он скоро. Ныло сердце. За окном светало. Он отдернул казенно-горчичную портьеру и ахнул. За окном расстилалось темно-зеленое, тихое кладбище. Оно шло от самой гостиничной стены, и ясно было, что и сам современный приют интуристов тоже стоит на костях бывших граждан Австро-Венгерской монархии и Речи Посполитой. Русинов был пока еще здесь, под эгидой «Интуриста» и горкоммунхоза, но сердечная боль напоминала, что ему предстоит переселение туда, в тихое и ненадежное прибежище мертвых, теснимое городскими новостройками...

Под утро ему все же удалось уснуть. Пробуждался он неохотно – за окном лил дождь, было холодно, намного холодней, чем в Москве. Он вышел в коридор, увидел из окна безотрадную площадь, на ней пяток туристских автобусов. Перспектива остаться под дождем, запертым в отеле на краю зеленого кладбища, показалась ему пугающей. Он быстро оделся и поспешил к автобусам, доставая на ходу из кармана командировочное удостоверение, а также бумажку от журнала, призывающую власти оказывать ему, Русинову, всяческую поддержку в его творческих поисках на благо журнала и всего народа. Прочитав эти бумаги, начальство распорядилось усадить Русинова на переднее сиденье, рядом с лучшей экскурсоводшей гор-экскурсбюро. Хлопнула дверь автобуса, уютно заурчал мотор, автобус развернулся перед отелем, зазвучал приторный голос экскурсоводши – экскурсия началась. С первых же метров пути Русинов узнал, откуда взялось длинное и странно звучащее название областного центра. В старину город носил скромное польское название – то ли Владислав, то ли Болеслав, теперь же он назывался Стефано-Гвоздиловск, и это была дань уважения знаменитому местному писателю, поднявшему грамотность своего народа до высот изящной словесности. Автор этот написал в юности знаменитое стихотворение «Гвоздило», в котором создал образ труженика, вбивающего последний гвоздь в гроб самодержавия. Позднее автор взял себе псевдоним в честь этого популярного стихотворения – Стефан Гвоздило. Экскурсовод сообщила, что Гвоздило учился на медные деньги (серебряных ему всегда не хватало) в Вене, Варшаве и Париже, что он очень любил женщин, но больше всего любил свой народ и доблестный труд, в результате чего написал пять тысяч двести семнадцать крупных и мелких творений, включая заметки для календаря, переводы, письма родным и денежные расписки.

– Взгляните на это кладбище, которое, конечно же, будет скоро уничтожено, – с подъемом сказала экскурсоводша. – Тут лежат сразу две любимых женщины Стефана Гвоздило. Скоро

все мертвецы будут вывезены отсюда, кроме этих двух женщин, которых любил наш Гвоздило, и кладбище будет, таким образом, превращено в парк культуры и отдыха для трудящихся, а эти могилы будут напоминать им о том, кто всю свою жизнь отдал родной литературе. Предполагается даже перенести сюда останки других женщин, которых любил художник слова...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.